

ВЕДЬМА из СЫЗРАНИ

Ведьма в декрете

Приём ведёт
фамильяр
(кот Модест).
Переводчик —
Е. К. Курами не платить

Милана Панова

**Ведьма из Сызрани.
Ведьма в декрете**

«Автор»

2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Ведьма в декрете / М. Панова — «Автор», 2026

Даже ведьме положен декрет. Только клиенты об этом не знают. Василиса растит двойню. Гаша поднимает в воздух бутылочки, кота и курицу. Алёша чихает — и вспыхивают занавески. Ведьма спит по три часа в сутки, а на калитке висит табличка: «Приём ведёт фамильяр (кот Модест). Переводчик — Е. К. Курами не платить». Переводчик — сызранский чёрт Еремей Касьянович, крёстный Алёши. Осенью в Сызрани перестают спать все младенцы: ровно в три часа ночи кто-то с болота ходит от колыбели к колыбели и что-то ищет. А совет местной нечисти решает, не забрать ли Алёшу к себе: он дышит чёртовым дыханием, значит, «наш». Святки, болото, кикимора, которая сто лет живёт без имени, и вопрос, кто кому на самом деле родной. Пятая книга о ведьме из Сызрани — смешная и тёплая история про первый год материнства и про то, что своими становятся не по крови, а когда ночью встают к колыбели.

© Панова М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Декрет	5
Глава 2. Приёмные часы	9
Глава 3. Гаша	12
Глава 4. Три часа ночи	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Ведьма в декрете

Глава 1. Декрет

В половине седьмого утра, в сентябре, на кухне дома тринадцать по улице Верхне-Кирпичной летала бутылочка.

Не падала. Не катилась. Летала. Медленно, плавно, как воздушный шарик, на высоте примерно полутора метров, от плиты к окну и обратно. Бутылочка была детская, пластиковая, на двести сорок миллилитров, с соской и с молочной смесью «Нутрилон Комфорт» внутри. Смесью в ней плескалась.

Василиса стояла посреди кухни. В бабушкином халате. С одним носком на ноге. С волосами, которые она не расчёсывала, кажется, с июля. С Алёшей на левой руке — он орал. И смотрела на бутылочку.

— Гаша, — сказала она. — Отдай бутылочку.

Гаша сидела в детском стульчике у стола. Семь месяцев. Пухлая, румяная, с тёмными кудряшками на макушке, с двумя нижними зубами, которыми она очень гордилась. Смотрела на бутылочку. Огромными тёмными глазами. Серьёзно. Сосредоточенно. Как Евдокия Марковна на документы.

И бутылочка летала.

— Гаша. Это Алёшина бутылочка. Алёша есть хочет.

Гаша перевела взгляд на мать. Подумала. Потом снова посмотрела на бутылочку.

Бутылочка сделала мёртвую петлю.

Алёша орал. Громче.

— Модест! — позвала Василиса.

С печки свесилась чёрная голова. Глаза у Модеста были красные. Он не спал, кажется, с июля тоже.

— Чего, — сказал он хрипло.

— Скажи ей.

— Чего сказать?

— Чтоб отдала бутылочку.

Модест посмотрел на бутылочку. На Гашу. На Василису.

— Васёна, — сказал он устало. — Ей семь месяцев. Она меня ещё не понимает. То есть понимает. Но не слушается. — Он помолчал. — Она никого не слушается. Вся в прабабку. Агафья в семь месяцев, мне рассказывали, корову на крышу закинула. Мать её неделю снимала.

— Модест, пожалуйста.

Кот вздохнул. Тяжело. Спрыгнул с печки — с глухим «бум». Подошёл к стульчику. Сел перед Гашей. Посмотрел ей в глаза.

— Агафья Егоровна, — сказал он строго. — Положи бутылку.

Гаша посмотрела на кота.

Улыбнулась. Широко. Двумя зубами.

И схватила его за ухо.

Бутылочка упала на пол. Не разбилась — пластиковая. Покатилась под лавку. Смесью потекла.

Алёша орал.

Модест с Гашей на ухе выл.

Фрол Евсеич за печкой включил телевизор погромче.

А в дверь — Василиса услышала это сквозь вой, сквозь крик, сквозь телевизор, — посту-
чали. Потом ещё раз. Потом калитка пропела длинную, выразительную ноту.

— Клиенты, — сказал Фрол Евсеич из-за печки. — Трое. Я в окно видел. Одна — с
курицей.

Василиса закрыла глаза.

Был сентябрь. Гаши и Алёше было по семь месяцев. Василиса была в декрете.

Декрет оказался совсем не таким, как она думала.

Она думала — будет тихо. Будет спокойно. Будет коляска, парк, прогулки вдоль Сыз-
ранки, чай на крыльце, книжки, «Девять месяцев счастья», потом «Первый год жизни». Она
будет сидеть с детьми, а клиенты — подождут. Год. Полтора. Она ведь в декрете. Даже ведьмам
положен декрет.

Клиенты не ждали.

Они приходили. Каждый день. С утра до вечера. С курами, с банками, с вареньем, с
бедами. Потому что в Сызрани у кого-то пропал кот, у кого-то запил муж, у кого-то сглазили
корову, у кого-то болит голова третью неделю, и врачи ничего не находят, а у кого-то дочь
собралась замуж за «совершенно неподходящего человека», и нельзя ли как-нибудь... Хотя
бы посмотреть.

Василиса смотрела. Между кормлениями. С Гашей на одной руке и Алёшей на другой.
Между сменой подгузников. Между стиркой. Между попытками уложить двоих спать одно-
временно — что, как выяснилось, было невозможно, потому что стоило уснуть одному, как
второй немедленно просыпался и будил первого.

Нитки она штопала ночью. В три часа. Когда двойня наконец засыпала — на сорок минут.
Сидела на кухне при свечке, с Гроссбухом, и штопала. Бледные, истончившиеся, перекручен-
ные нитки сызранцев. Пока кто-нибудь из двоих не начинал плакать.

Спала она по три часа в сутки. Иногда — по два. Однажды уснула стоя, у плиты, с ложкой
в руке. Проснулась от того, что Модест укусил её за ногу. Каша горела.

Егор помогал. Из всех сил. Он вставал по ночам. Он менял подгузники. Он гулял с
коляской. Он стирал. Он научился варить кашу — у него получалось лучше, чем у неё. Но он
был участковый. Его вызывали. Ночью, днём, в выходные. В Сызрани в сентябре — сезон краж
велосипедов, драк у ночных клубов и пьяных грибников, заблудившихся в Кашпирском лесу.

Фрол Евсеич помогал. Пёк пироги. Варил кашу. Качал колыбель, когда никто не видел.
Но из-за печки, на минуту, не больше. «Мне, девка, из-за печки нельзя надолго. Я домовый.
Я при доме, а не при детях».

Модест помогал.

Модест был при Гаши. Всегда. Круглые сутки. Спал у неё в ногах. Ел рядом. Ходил за
ней, когда она начала ползать — в шесть месяцев, раньше брата, — по всему дому, по пятам,
как тень. Ловил её у края лестницы. Отгонял от печки. Вытаскивал из-под лавки. Учил.

— Чему ты её учишь? — спросила как-то Василиса.

— Смотреть, — сказал Модест. — Нитки. Она уже видит. Немножко. Как в тумане. Я ей
показываю. Вот твоя нитка — к маме. Вот — к папе. Вот — к брату. Вот — ко мне.

— Ей семь месяцев, Модест.

— Агафья в семь месяцев корову на крышу закинула, — повторил кот. — Я тебе говорил.
Это ничего. Это не рано. Это — Кругловы.

Гаши и правда видела. Василиса замечала это. Она могла лежать на спине, на полу, на
одеяле, и долго, очень долго смотреть в пустоту над собой. И улыбаться. И тянуть ручки. Как
будто там что-то было. Что-то тёплое, золотое, натянутое.

А потом вещи начали летать.

Сначала — мелкие. Погремушки. Соски. Носки. В июле Гаша смотрела на кедровую погремушку из Иркутска, которая лежала на столе, — и погремушка поднималась в воздух и подплывала к ней. В августе — бутылочки, кружки, ложки. В сентябре — кот. Один раз. Модест взлетел над полом на полметра и висел так, растопырив лапы и выкрикивая слова, которые Василиса не решилась бы повторить при детях, пока Гаша не устала и не отпустила.

Алёша ничего не поднимал. Алёша чихал.

Чихал он, как Еремей Касьянович. Громко. С присвистом. И когда он чихал — где-нибудь в доме обязательно что-нибудь вспыхивало. Не сильно. Чуть-чуть. Свечка на столе. Спичка в коробке. Однажды — Модестов хвост. Самый кончик. Модест потушил его в миске с водой и неделю не разговаривал с Алёшей.

— Это табачное, — объяснил Еремей Касьянович, когда Василиса пожаловалась. — Моё дыхание. В нём огонь. Немножко. Я фитили в Сенгилее зажигаю — вы же знаете. Вот и он. — Еремей посмотрел на крестника с нежностью. — Ничего страшного, голубушка. Научится. Я научу. К году будет только свечки зажигать. По желанию.

— А сейчас?

— А сейчас — держите подальше от сена, — сказал Еремей.

Клиентов в то сентябрьское утро было трое.

Первая — с курицей — оказалась тётей Шурой с козами. Курицу она принесла в качестве оплаты, и курица была живая, и курица немедленно вырвалась, взлетела на печку, сбросила оттуда Фролову шапку и начала нести яйцо в Фрол-Евсеичевом валенке. Тётя Шура пришла насчёт козы, которая третий день не давала молока.

Второй был мужчина лет пятидесяти, в пиджаке и галстуке, с портфелем. Бледный. Нервный. Сказал, что его фамилия Гусев, он заместитель директора по снабжению на НПЗ, и что на него навели порчу. Он точно знает. Потому что вчера у него сломалась машина, сегодня утром его укусила соседская собака, а на совещании у генерального он подавился чаем и облил отчёт.

Третья — молоденькая, лет восемнадцати, в спортивном костюме, с заплаканными глазами. Ничего не сказала. Просто села на лавку в сенях и заплакала снова.

Василиса стояла посреди кухни. С Алёшей на руках — он перестал орать, потому что курица на печке его заинтересовала. С Гашей, которая отпустила Модестово ухо и теперь пыталась поднять в воздух курицу. С Модестом, который держался лапой за ухо и шипел. С лужей молочной смеси под лавкой.

И поняла, что больше не может.

Не «не хочет». Не «устала». А — не может. Как не может печь топиться без дров. Как не может узел держаться без людей.

Она села на лавку. Прямо в лужу смеси. С Алёшей на руках.

И заплакала.

Тихо. Без звука. Слёзы просто потекли — сами, как вода из крана, который забыли закрыть.

Гусев с портфелем уставился на неё. Девушка в спортивном костюме перестала плакать — от удивления. Тётя Шура охнула. Курица на печке закудаhtала.

Модест медленно подошёл. Сел перед ней. Посмотрел.

— Васёна, — сказал он тихо.

Василиса не ответила. Плакала.

Модест посмотрел на неё ещё секунду. Потом развернулся. Вспрыгнул на стол — тяжело, с глухим «бум». Сел посреди стола. Выпрямился. Обвил хвостом лапы. Посмотрел на клиентов. Жёлтыми глазами. Строго. Как директор школы на линейке.

— Так, — сказал он.

Клиенты, разумеется, услышали «мяу». Но почему-то — все трое — выпрямились.

— Приём, — сказал Модест, — с сегодняшнего дня веду я.

— Модест, — сказала Василиса сквозь слёзы. — Тебя же никто не понимает. Ты кот. Они слышат «мяу».

— Значит, нужен переводчик, — сказал Модест. — Фрол!

— А? — донеслось из-за печки.

— Ты по четвергам кого ждёшь?

Фрол Евсеич помолчал.

— Ерёму, — сказал он.

— Сегодня какой день?

— Четверг.

Модест посмотрел на часы. На стене. Бабушкины. С кукушкой, которая с Касьянова дня снова куковала.

Половина восьмого.

Калитка за окном пропела. Длинно. С выражением. С лёгкой табачной хрипотцой.

— Вот, — сказал Модест. — Переводчик пришёл.

Глава 2. Приёмные часы

Еремей Касьянович выслушал Модеста молча. Стоя на пороге кухни. В сюртуке, в котелке, с тростью. С пирогом под мышкой — Пелагея Саввишна в Сенгилее испекла для крестника, с яблоками. С холщовой сумкой, в которой, как выяснилось потом, лежали три пачки «Герцеговины Флор», две погремушки из бересты (сам сделал, на маяке, по вечерам) и толстая тетрадь в клеёночной обложке, на которой было написано: «Алёша. Наблюдения».

— Переводчиком, — повторил Еремей, когда Модест закончил.

— Переводчиком, — сказал Модест. — И приёмщиком. Люди приходят. Ты с ними говоришь. Записываешь, что хотят. Мне рассказываешь. Я смотрю нитки. Говорю, что делать. Ты им передаёшь. — Кот помолчал. — По смыслу. Не буквально.

Еремей Касьянович медленно снял котелок. Положил на лавку. Посмотрел на Василису. Она сидела в луже смеси, с Алёшей на руках, с мокрым лицом.

— Голубушка, — сказал он тихо. — Вы спите хоть иногда?

— Иногда, — сказала Василиса.

— Это не ответ, — сказал Еремей. Он взял у неё Алёшу. Осторожно. Как фарфоровую чашку. Алёша посмотрел на крёстного. Узнал. Чихнул — с присвистом. Свечка на столе вспыхнула. Еремей не моргнул. — Ложитесь. В бабушкину комнату. Я посижу. С клиентами разберёмся. С Модестом.

— Еремей Касьянович, я не могу, у меня...

— Можете, — сказал Еремей. — По договору. Пункт седьмой. «Только по смыслу. По желанию. По совести». — Он улыбнулся. — Вы сейчас хотите спать, голубушка. Это ваше желание. Я его исполняю. По совести.

Василиса посмотрела на него. Потом на Модеста. Потом на Фрола Евсеича, который высунулся из-за печки.

— Иди, девка, — сказал домовый. — Поспи. Мы тут.

Василиса пошла.

Она спала одиннадцать часов.

Подряд. Без пробуждений. Как убитая. Ей ничего не снилось.

Когда она проснулась — было темно. За окном горели фонари на Верхне-Кирпичной. В доме было тихо. Подозрительно тихо.

Она выскочила на кухню. В халате. Босиком.

На кухне горел свет. Пахло пирогом с яблоками и табаком.

Гаша и Алёша спали. Оба. Одновременно. В двухместной колыбели у печки. Гаша — раскинув руки, с Модестовым хвостом в кулаке. Модест лежал рядом, свернувшись вокруг колыбели, и тоже спал. Алёша — на боку, с берестяной погремушкой во рту. Черепашка Кася сидела у него на подушке. Неподвижно. Как часовой.

За столом сидели Еремей Касьянович и Фрол Евсеич. Пили чай. Играли в дурака. Фрол Евсеич жульничал. Еремей делал вид, что не замечает.

На столе лежал Гроссбух. Открытый. Поверх него — листок бумаги. Исписанный бархатным, старомодным, каллиграфическим почерком, с завитушками.

— Проснулись, голубушка, — сказал Еремей, не оборачиваясь. — Чаю?

— Сколько... Который час?

— Без четверти девять, — сказал Еремей. — Вечера. Они спят с семи. Я их выкупал. Покормил. Спел. Модест помог. — Он кивнул на кота. — Они Модеста слушаются, когда он поёт. Тихо так. Без слов. Ту самую. Агафину.

Василиса села на лавку.

— А клиенты?

— Разобрались, — сказал Еремей. И протянул ей листок.
Василиса прочитала.

«Приём. Четверг. 14 сентября.

1. Тётя Шура (с курицей). Коза не доит. Модест посмотрел нитки. Сказал: коза ревнует. Тётя Шура новую козу купила. Молодую. Зорькину дочку — от тёти Нюры. Старая обиделась. Совет: старой козе — первой еду давать. И гладить. И говорить, что она лучшая. Тётя Шура ушла. Курицу оставила. Курица снесла яйцо в Фролов валенок. Фрол недоволен.

2. Гусев (НПЗ, снабжение). Считает, что на него навели порчу. Модест посмотрел. Порчи нет. Есть совесть. Нечистая. Гусев на прошлой неделе подписал акт приёма на трубы, которых не было. Нитка от совести — натянута, перекручена, вот всё и валится. Совет: пойти к генеральному и признаться. Гусев побледнел. Сказал, что подумает. Ушёл. Банку мёда оставил. Мёд хороший.

3. Девушка (Даша, 18 лет). Плакала. Модест посмотрел. Беременна. Восемь недель. Парень бросил. Мать выгонит. Боится. Модест сказал... — тут почерк Еремея на секунду дрогнул, — ...Модест сказал: пусть приходит каждый четверг. Чаю попить. Посидеть. На детей посмотреть. Пусть знает, что не одна. Я передал. По смыслу. Она поплакала ещё. Потом подержала Алёшу на руках. Он на неё чихнул. Свечка вспыхнула. Она засмеялась. Ушла. Обещала прийти в четверг.

Итого: три клиента. Две банки (мёд, огурцы). Одна курица. Одно яйцо (в валенке). Е. К.»
Василиса читала. Перечитывала.

— Это... — Она подняла глаза. — Это вы так приём ведёте?

— Модест ведёт, — сказал Еремей. — Я только перевожу. И записываю. — Он помолчал.
— По смыслу.

Модест на полу у колыбели приоткрыл один глаз.

— Он плохо переводит, — сказал кот сонно. — Добавляет от себя.

— Я по смыслу, — сказал Еремей.

— Ты Гусеву сказал «признайтесь, голубчик, а то вас совесть съест, как моль шубу». Я этого не говорил.

— Ты сказал «пусть признается». А я добавил образ. Для убедительности.

— Это не по смыслу. Это литература.

— Это по совести, — сказал Еремей. — Литература — она тоже по совести бывает.

Модест фыркнул. Закрыв глаз.

Василиса смотрела на них. На кота и чёрта. Которые спорили, как старые супруги. На спящих детей. На Фрола Евсеича с картами. На курицу, которая дремала на печке.

И вдруг засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить детей. До слёз.

С того четверга Еремей Касьянович приезжал не только по четвергам.

Сначала — по четвергам и понедельникам. Потом — по четвергам, понедельникам и пятницам. Потом Глеб Борисович позвонил из Сенгилея и сказал, что маяк на зиму закрывают — «музей до апреля, туристов нет, Поля в Москву едет, к Евдокии Марковне, ей сто пятнадцать, помочь надо», — и что Еремей, наверное, мог бы пожить у Кругловых. Если, конечно, они не против.

Фрол Евсеич был не против. Он сказал «лавка у печки — его», и это прозвучало так, будто домовый двести лет ждал, чтобы кто-нибудь занял эту лавку.

Модест был против. Он сказал, что «чёрт в доме — к беде». Потом подумал. Сказал: «Ну, этот — к пирогам». И больше не возражал.

Егор был не против. Он сказал «наконец-то кто-то поможет» и в тот же вечер впервые за три месяца проспал всю ночь.

Приёмные часы стали официальными. С понедельника по пятницу, с десяти до часу. Еремей нарисовал табличку. Каллиграфически. С завитушками. Повесил на калитку:

«ВЕДЬМА В ДЕКРЕТЕ.

ПРИЁМ ВЕДЁТ ФАМИЛЬЯР (кот Модест).

ПЕРЕВОДЧИК — Е. К.

Пн–Пт, 10:00–13:00.

Детей не будить. Курами не платить».

Последнюю строчку дописал Фрол Евсеич. Карандашом. После второй курицы.

Сызранцы табличку читали. Пожимали плечами. И шли.

Приём вёлся на кухне. Модест сидел на столе — на подушке, вышитой тётей Нюрой специально, с надписью «Его величество». Еремей Касьянович — на лавке, рядом, с Гроссбухом и перьевой ручкой. Клиент — на табуретке напротив. Фрол Евсеич — за печкой, с чаем, «для общего порядку».

Клиент рассказывал. Модест слушал. Смотрел нитки. Говорил Еремею. Еремей передавал — по смыслу.

Иногда — очень по смыслу.

Пришла женщина. Пожаловалась на мужа: храпит. Модест посмотрел нитки. Сказал Еремею: «Муж не храпит. Муж здоров. Она просто его не любит больше. Ей всё в нём мешает. Храп — повод». Еремей помолчал. Посмотрел на женщину. И сказал: «Голубушка, Модест говорит — храп лечится. Но не у мужа. У вас. Вы его когда последний раз за руку держали?» Женщина побледнела. Ушла. Через неделю вернулась. С мужем. Под руку. Сказала, что храп прошёл. Модест сказал Еремею: «Ничего не прошло. Он так же храпит. Просто ей теперь не мешает». Еремей сказал женщине: «Модест рад».

Пришёл мужчина. Попросил приворот на соседку. Модест посмотрел нитки. Сказал: «Нет. Соседка замужем. Счастливо. Пусть идёт». Еремей посмотрел на мужчину. Подумал. И сказал: «Модест говорит, что у вашей соседки есть сестра. В Октябрьске. Незамужняя. Вам — пара». Мужчина уехал в Октябрьск. Модест возмутился: «Я про сестру ничего не говорил!» Еремей сказал: «Я видел её нитку. От соседки к сестре — и дальше, в никуда. Одинокая. И у него — в никуда. А концы — совпадают. Я, Модест, сто тридцать лет на ваши нитки смотрел. Кое-чему научился». Модест долго молчал. Потом сказал: «Ладно. Посмотрим». Через месяц мужчина пришёл с банкой огурцов. Октябрьских. И с приглашением на свадьбу.

Пришла Даша. В четверг. Как обещала. Потом в следующий. Потом — каждый день. Сидела на кухне, пила чай, держала на руках то Гашу, то Алёшу. Плакала меньше. Потом — совсем перестала. Еремей Касьянович разговаривал с ней — о чём, Василиса не слышала, но однажды увидела, как Даша смеётся, а Еремей что-то показывает ей руками, рисует в воздухе тростью, — и Даша сказала: «Ой, правда? Прямо на маяке? Ночью?» Мама Даши — Василиса узнала потом — Дашу не выгнала. Пришла сама. На Верхне-Кирпичную. Посидела на кухне. Попила чаю. Посмотрела на двойню. Сказала: «Ладно. Вырастим». И ушла с Дашей под руку.

Гусев с НПЗ пришёл через три недели. Без портфеля. Сказал, что признался генеральному. Что его не уволили. Понизили. До начальника отдела. Что зарплата меньше. Что жена ругается. Что ему впервые за пять лет хорошо спится. Принёс банку мёда. Вторую.

— Хорошо работаете, — сказала Василиса однажды вечером. Модесту и Еремею. Они сидели на кухне после приёма, пили чай. Модест — молоко с блюда.

— Модест работает, — сказал Еремей.

— Ерёма работает, — сказал Модест одновременно.

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, — сказал Модест. — Вместе.

— Вместе, — согласился Еремей.

Фрол Евсеич за печкой высморкался.

Глава 3. Гаша

К октябрю Гаша поднимала в воздух всё, что весило меньше пяти килограммов.

Бутылочки. Кружки. Ложки. Тарелки — с кашей и без. Погремушки. Книжки. Тапочки. Котёл с бельём — один раз, и то невысоко. Модеста — регулярно. Модест весил одиннадцать килограммов, но, видимо, для Гаши это было не важно. Луи, когда приезжал, — всегда. Луи нравилось. Он висел над полом, растопылив голые лапы, и кричал «Formidable! Encore!», а Гаша смеялась так, что у неё икота начиналась.

Черепашку Касю она не поднимала никогда. Ни разу. Василиса заметила это не сразу. А когда заметила — спросила Модеста.

— Не знаю, — сказал Модест. — Может, она понимает, что Кася — Алёшина. Не её. Чужого не трогает.

— Ей восемь месяцев, Модест.

— Агафья в восемь месяцев...

— Я знаю, — сказала Василиса. — Корову на крышу.

— Нет, — сказал Модест. — Это в семь. В восемь она соседского петуха превратила в курицу. Насовсем. Петух потом яйца нёс. Шесть лет. Соседи радовались.

Гаша видела нитки. Это было уже точно. Она лежала на полу, на одеяле, и смотрела вверх, в пустоту, — и тянула ручки, и хватала что-то, и перебирала пальчиками, как будто играла на арфе. И смеялась. Иногда — хмурилась. Иногда — плакала, вдруг, без причины, глядя куда-то в сторону окна, и Василиса, поворачивая ручку настройки, видела там, за окном, на улице, чью-то тёмную, перекрученную, больную нитку. Прохожего. Соседа. Чужого.

— Она чувствует, — сказал Модест. — Чужую боль. Как ты. Как Агафья. Это хорошо. Это значит — ведьма будет. Настоящая.

— Это значит, — сказала Василиса, — что она будет всю жизнь плакать из-за чужих людей.

— Будет, — согласился Модест. — Все Кругловы плачут из-за чужих. Ты же плачешь. Василиса промолчала.

Алёша нитки не видел. Почти. Иногда — как в тумане, как говорила Пелагея Саввишна. Он смотрел туда же, куда сестра, — но не тянулся. Просто смотрел. С интересом. И потом чихал.

Зато Алёша видел другое.

Он видел нечисть.

Василиса поняла это в конце сентября, когда к ним зашёл банник. Банник из бани в конце огорода — маленький, голый, красный, с бородой до колен, — пришёл в дом впервые за двести лет. Не через дверь — через трубу. Сказал, что ему Фрол Евсеич велел зайти, «на детей посмотреть, всё-таки при бане родились». Банник при бане родились? Василиса не поняла. Фрол Евсеич объяснил: в бане их первый раз купали, значит — баня их знает.

Гаша банника не заметила. Совсем. Смотрела сквозь него, на печку.

А Алёша — заметил сразу. Уставился. Протянул ручки. Засмеялся. И чихнул. Прямо на банника. Борода у банника задымилась.

Банник потушил её — привычно, ладонью, — и долго смотрел на Алёшу.

— Видит, — сказал он Фролу Евсеичу. — Меня видит.

— Видит, — кивнул Фрол Евсеич.

— Девка не видит, а он видит.

— Девка ведьма. Ведьмы нас не всегда видят. Им нитки мешают. А он — не ведьмак.

Он...

— Чёртов крестник, — сказал банник. Медленно. Как будто пробовал слова на вкус. — Дыханием чёртовым дышит.

Фрол Евсеич ничего не ответил. Но Василиса видела, как он посмотрел на банника. Долго. Тяжело. С каким-то странным выражением.

— Ну, — сказал банник. — Ну-ну. — И ушёл. Через трубу.

— Фрол Евсеич, — сказала Василиса. — Что это значит?

Домовой долго молчал. Потом вздохнул.

— Ничего, девка, — сказал он. — Пока — ничего.

Но в голосе у него было «пока».

Позвонила Евдокия Марковна. Сто пятнадцать лет. Из Москвы. Пелагея Саввишна теперь жила у неё на Арбате, в коммуналке, в комнате соседки Тамары, которая уехала к дочери в Тверь. Помогала. Готовила. Читала вслух. Евдокия Марковна говорила, что Пелагея — «лучшая сиделка, какую можно вообразить, только очень строгая, не даёт коньяк в чай».

— Деточка, — сказала Евдокия Марковна в трубку. Скрипуче, громко. — Что у тебя там? Мне Модест через ворона Карла передал — у тебя дети летают?

— Вещи летают. Гаша поднимает.

— Ну и пусть поднимает, — сказала Евдокия Марковна. — Это нормально. Первый год ведьмы всегда шалят. Сила лезет. Девать некуда. Я сама в восемь месяцев... — Она помолчала. — Не помню, что я в восемь месяцев. Мама рассказывала — что-то с самоваром. — Пауза. — А мальчик?

— Мальчик чихает. И нечисть видит. Банник приходил — он его увидел.

В трубке долго молчали.

— Видит, значит, — сказала наконец Евдокия Марковна. Совсем другим голосом. Тихим. — Нечисть видит.

— Это плохо?

— Не знаю, деточка, — сказала Евдокия Марковна. — Это... это необычно. Ведьмы видят нитки. Простые люди — ничего не видят. А видеть нечисть — это... это так видят свои. Те, кто наполовину оттуда. — Пауза. — Ты Еремея спроси.

Еремея Василиса спросила вечером. После приёма.

Еремей Касьянович сидел на лавке у печи. С Алёшей на коленях. Показывал ему, как зажигать свечку — не чихом, а взглядом. Медленно. Терпеливо. Алёша смотрел на свечку. Хмурился. Свечка не зажигалась. Алёша чихал. Свечка вспыхивала. Еремей вздыхал: «Ничего, голубчик. Ничего. Ещё раз».

— Еремей Касьянович, — сказала Василиса. — Алёша видит нечисть.

Еремей перестал показывать. Посмотрел на неё. Поверх монокля.

— Знаю, — сказал он.

— Евдокия Марковна говорит — так видят свои. Наполовину оттуда.

Еремей Касьянович долго молчал. Гладил Алёшу по тёмным кудряшкам — у Алёши были тёмные кудряшки, как у сестры, но жёстче, и пахли — Василиса не сразу заметила, — чуть-чуть табаком.

— Он не наполовину, голубушка, — сказал Еремей наконец. — Он человек. Весь. Ваш с Егором Алексеевичем. Целиком. — Пауза. — Только дышит — моим. Чуть-чуть. Самую малость. Вот он и видит. Нас. Как мы друг друга видим.

— Это опасно?

Еремей Касьянович не ответил сразу. Посмотрел в окно. На тёмную Верхне-Кирпичную. На фонари. На Сызранку внизу, за оврагом.

— Для него — нет, — сказал он. — Он под защитой. Моей. Модестовой. Вашей. Узла. — Он помолчал. — Но для других...

— Для каких других?

— Для наших, — сказал Еремей тихо. — Для сызранской нечисти. — Он погладил Алёшу по голове. — Они его тоже видят, голубушка. И чувят. Моё дыхание чувят. Чёртово. — Он посмотрел на неё. — И некоторые из них, я боюсь, считают, что раз он моим дышит — значит, он наш. Ихний. Нечистый.

Василиса похолодела.

— И что?

— Пока — ничего, — сказал Еремей Касьянович. Точно так же, как Фрол Евсеич. С тем же «пока». — Я с ними поговорю. С кем надо. Это моё дело, голубушка. Я крёстный. Я за него отвечаю. По договору. Пункт третий. — Он улыбнулся. Но улыбка не дошла до глаз. — Не волнуйтесь.

Алёша на его коленях посмотрел на свечку. Нахмурился. Сосредоточился. Очень сильно. И свечка вспыхнула. Без чиха. Просто — от взгляда.

Еремей Касьянович замер.

— Голубчик, — прошептал он. — Голубчик. Получилось. Получилось!

Алёша посмотрел на крёстного. На свечку. Снова на крёстного. И засмеялся. Громко, звонко, с присвистом.

Гаша в колыбели проснулась от смеха брата. Посмотрела на него. На свечку. На Еремея. Подумала.

И подняла в воздух Еремеев котелок с лавки. И надела ему на голову. Задом наперёд.

Модест на печке захохотал. Первый раз за неделю.

А Василиса, стоя у двери, смеялась вместе со всеми — и думала о слове «пока».

Глава 4. Три часа ночи

В октябре в Сызрани перестали спать дети.

Не все. Маленькие. До года. Сначала Василиса не обратила внимания — её собственные двое и так не спали, им было по восемь месяцев, у Гаши резался третий зуб, у Алёши — первый, и ночи на Верхне-Кирпичной были похожи на сирену воздушной тревоги, включённую на пять часов подряд.

Но потом она стала замечать.

В детской поликлинике на Ульяновской, куда она ходила раз в месяц на осмотр, в очереди сидели мамы. Двадцать, тридцать мам. С колясками, с сумками, с серыми от недосыпа лицами. И все говорили об одном.

— Не спит. Совсем. С трёх ночи — как по будильнику. Кричит. Час, два. Потом засыпает — и в шесть опять.

— И мой. С трёх.

— И наш. Ровно в три. Я по часам проверяла. Три ноль-ноль — и как будто кто-то его щиплет.

— Врач говорит — зубы.

— У моего нет зубов. Ему четыре месяца.

— Врач говорит — колики.

— Какие колики в десять месяцев?

— Врач говорит — погода. Магнитные бури.

Мамы переглядывались. Молчали. Василиса сидела с ними, с двойней в двухместной коляске, и слушала. И что-то холодное ползло у неё по спине.

Педиатр Галина Семёновна, пожилая, полная, в очках на цепочке, осмотрела Гашу и Алёшу, послушала, взвесила, сказала «всё в норме, мамочка, развиваются прекрасно, даже с опережением», — и, уже прощаясь, вдруг сказала, понизив голос:

— Мамочка. Вы у нас... ну, вы в городе известная. Агафьи Семёновны внучка. Говорят... — Она помолчала, снимая очки. — Говорят, вы кое-что видите. Чего мы не видим.

Василиса молчала.

— У меня на участке двести сорок детей до года, — сказала Галина Семёновна. — С середины сентября — сто девяносто жалоб. Плач по ночам. В одно и то же время. Три часа. Я сорок лет педиатр. Такого не было. Никогда. — Она посмотрела на Василису. — Это не зубы. Не колики. Не погода. Я не знаю, что это. Может... вы посмотрите?

В три часа ночи Василиса стояла у окна.

Гаша и Алёша спали. Удивительно, но — спали. Оба. Её двое, видимо, были единственными детьми в Сызрани, которые в эту ночь не плакали. Модест лежал в колыбели между ними. Не спал. Еремей Касьянович сидел на лавке у печки, в темноте, курил в трубу. Тоже не спал.

Без одной минуты три Василиса повернула ручку настройки.

И увидела.

Сызрань лежала перед ней — в темноте, в редких огоньках фонарей, в осеннем тумане. И над городом — нитки. Миллионы ниток. Золотые, серебряные, бледные, яркие. Привычная сеть. Живая.

А среди них — маленькие. Тоненькие, свежие, золотые, как новые паутинки. Детские. Двести сорок. Триста. Пятьсот. По всему городу. Из окон, из спален, из колыбелей.

Ровно в три — их коснулось что-то.

Василиса видела это. Серое. Тонкое. Холодное. Как туман. Как сырой мох. Оно протянулось с юга, из-за города, со стороны Кашпира, — тонкой-тонкой нитью, почти невидимой, —

и поползло по городу. От окна к окну. От колыбели к колыбели. Касалось каждой маленькой золотой нитки. Трогало. Как будто ощупывало. Как будто искало что-то.

И каждый ребёнок, которого оно касалось, — просыпался. И плакал.

Над Сызранью поднимался плач. Василиса не слышала его ушами — окна были закрыты, ночь тихая. Но она его чувствовала. Сотни маленьких голосов. Испуганных. Растерянных.

Серая нить ползла дальше. От дома к дому. Ощупывала. Искала. И не находила. И ползла дальше.

Она приближалась к Верхне-Кирпичной.

Василиса вцепилась в подоконник.

Серая нить переползла через Сызранку. Через овраг. Поднялась по склону. Миновала «Продукты 24». Миновала дом Зинаиды Павловны. Подползла к калитке дома тринадцать.

И остановилась.

Как будто упёрлась во что-то. Помедлила. Ткнулась ещё раз — в калитку, в забор. Не прошла.

Поползла вдоль забора. Ощупывая. Ища щель.

Не нашла.

И медленно, неохотно, как будто нехотя — уползла обратно. На юг. За город. К Кашпиру.

Плач над Сызранью начал стихать. Медленно. Минут через сорок — совсем.

Василиса стояла у окна. Руки у неё тряслись.

— Видели? — сказала она, не оборачиваясь.

— Видел, — сказал Модест из колыбели. Он стоял на четырёх лапах, вздыбленный, над спящими детьми. — Видел. Оно к нам шло.

— Узел не пустил, — сказал Еремей Касьянович от печки. Тихо. — Узел держит. И Фрол. И ты, Модест. И я. — Он помолчал. — Не прошло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.